



Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

ELSEVIER

Russian Literature LXXV (2014) I/II/III/IV

**Russian
Literature**

www.elsevier.com/locate/ruslit

“НЕПРЕМЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ” В
РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В.
(ОПЫТ *BEGRIFFSGESCHICHTE*)

(“INDISPENSABLE STATE LAWS” OF RUSSIA IN THE SECOND
HALF OF THE EIGHTEENTH CENTURY. AN EXERCISE IN
BEGRIFFSGESCHICHTE)

E. МАРАСИНОВА
(E. MARASINOVA)

Abstract

In this paper, I attempt to analyze the idea of law as a concept of paramount importance in eighteenth-century Russia. This approach is meant to shed light not only on the mechanism and effects of social control exercised by the throne, but also on the self-identification of the authorities and the priorities governing the values and the daily life of the privileged classes. This project entails clear definitions of both the word law as it is used in official sources, and the social practices associated with it.

Keywords: *18th-Century Russian Literature; State Laws; Begriffsgeschichte*

Актуальность и продуктивность использования исследовательских приемов *Begriffsgeschichte* или *History of Concepts*¹ давно уже признана многими специалистами. Методы *понятийной истории* позволяют глубже проникнуть в текст источника и получить результаты, которые сложно было заранее спрогнозировать.

В данной статье предпринята попытка анализа смыслового содержания таких важнейших понятий русского языка XVIII столетия, как *закон* и *гражданин*. Семантическое исследование этих понятий позволит углубить представления о механизме и результативности действия социального контроля престола, самоидентификации власти, ценностных приоритетах и повседневной жизни высшего сословия. В работе учитывались не только ясно артикулированные определения слов *закон* и *гражданин* в официальных источниках и документах, исходящих из наиболее образованной среды, но и обстоятельства “бытования” этих понятий, т. е. учитывались некоторые социальные практики, так или иначе с ними связанные. Сравнительное сопоставление терминологии различных по своему авторству, социальным функциям и видовой принадлежности источников еще раз подтвердило, что язык является и индикатором, и катализатором глубинных процессов, происходящих в общественном сознании, которые не всегда прочитываются при иллюстративном использовании документов. Тем не менее, несколько прояснившаяся картина оказалась достаточно противоречивой и даже парадоксальной.

Закон в “регулярном государстве”

Понятие *закон* в русском языке XVIII столетия было многозначно и имело отношение к социальной, религиозной, духовной сферам жизни современников. На основании словаря русского языка XVIII века можно выделить целый ряд определений, демонстрирующих богатейшее смысловое наполнение этого понятия. В рассматриваемый период различали *гражданский, криминальный, всемирный, откровенный, обычный закон; закон христианский, магометанский, еврейский, идолопоклоннический; закон чести, закон Моисеев, закон движения, закон математический* и т. д.²

Для понимания внутреннего мира человека XVIII столетия особое внимание следует обратить на соотнесение закона государственного и Божественного. В *Генеральном плане московского воспитательного дома* так и провозглашалось – “человек живет по законам государственным и Божественным”.³ Однако анализ частной переписки, воспоминаний и публицистики обнаружил слабую корреляцию между религиозной верой и правовым сознанием на уровне повседневной практики. Зато в законодательных актах апелляция к догматам Нового и Ветхого завета встречалась довольно часто. Содержание исходящих от престола указов свидетельствовало, что власть pragmatically использовала авторитет веры для усиления идеологической составляющей своих указов. Так, например, многочисленные обращения к священному писанию

содержались в обширной *Сентенции о наказании смертною казнью изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщников*. Аргументация необходимости жестокого наказания была усиlena цитатами из Книги Премудрости Соломона, четвертой книги Моисеевой, Евангелия от Марка, Матвея, Иоанна, послания апостола Павла к римлянам и первого послания апостола Павла к коринфянам. В результате следовал очевидный вывод – “наистрожайшая смертная казнь предписывалась вам Божественными и гражданскими законами и вечная мука по священному писанию”.⁴

Христианские ценности в правовых актах использовались как мощное дисциплирующее орудие и в то же время средство для смягчения нравов. Неслучайно Устав благочиния или полицейский начинался с изложения “правил добронравия”, сформулированных в прямом соответствии с заповедями Нагорной проповеди: “не чини ближнему, чего сам терпеть не хочешь; блажен кто и скот милует, буде скотина и злодея твоего спотыкнется, подыми ее”.⁵ Однако несмотря на провозглашенный в *Присяге депутатам, вступающим в Комиссию о сочинении проекта нового Уложения* тезис о том, что “правосудие истекает из правил богоугодных, человеколюбие вселяющих и добронравие”,⁶ Екатерина предостерегала от смешения “оснований, долженствующих управлять людьми”,⁷ и отождествления социального контроля власти с требованиями христианской морали.

Иная ситуация складывалась в пограничной зоне особого социального напряжения, связанной с тяжкими преступлениями. Обстоятельства, когда миряне⁸ наряду с обычными санкциями подвергались и церковным взысканиям также имеют отношение к сложной дефиниции понятий *закон Божий и государственный*. В XVIII столетии правительство использовало покаяние как одно из дополнительных наказаний, при этом состав преступлений, за которые полагался церковный суд, также определялся светской властью. По Воинскому уставу каяться полагалось, в частности, при следующих деяниях: идолопоклонство, чародейство, заговор ружья, блуд, лжесвидетельство, убийство по неосторожности, например, во время неумелого обращения с заряженным мушкетом в людном месте и т. д.⁹ Иную картину воспроизводит *Журнал высочайших конфирмаций Екатерины II*, где фиксировались не общие законодательные положения, а решения по конкретным делам и судьбам. На основании этого документа церковные покаяния накладывались исключительно за убийство, причем вне зависимости от статуса несчастной жертвы, будь то сосед по имению, купец или засеченный на конюшне крепостной. Таинство облегчающей совесть молитвы являлось принудительным и в обширном списке наказаний лишь дополняло такие меры, как пребывание 2-4 недели на хлебе и воде, лишение чинов и дворянского достоинства, ссылка на вечные работы в Сибирь.¹⁰

В РГАДА сохранилось уникальное дело, содержащее описание покаяния в дни Великого поста каптенармуса Алексея Жукова и его жены Варвары, осужденных за убийство матери и сестры. Детальный сценарий “прилюдного” покаяния преступников, одетых в посконные свиты, с распущенными волосами, босых и в оковах, был составлен епископами по приказу императрицы на основании правил святых отцов Анкирского собора 314-го года. Примечательно, что генерал-губернатор Москвы П. С. Салтыков, статс-секретарь Г. Н. Теплов и сама Екатерина тщательно отредактировали данный еще в IV столетии обряд покаяния убийц.¹¹ Во второй половине XVIII века государство единоличной властью приговаривало мирян к церковным наказаниям, на свое усмотрение определяло, “что угоднее Богу – смертная казнь или всечастное сокрушение души”, а при случае могло пригрозить подданным и Страшным судом.¹² На долю Синода оставалось лишь определение срока покаяния, но и тут престол требовал следовать наставлениям, быть осмотрительнее и отличать “жестокосердную лень” лишенных благости причастия от искреннего раскаяния.¹³ В период женских правлений Екатерины II и “тетки нашей Елизаветы Петровны” наказание “лишением жизни” все более приобретало метафорическое значение¹⁴ и с подкупающей наивностью уподоблялось фантуму страданий грешников в аду.

Понятие *закон*, так или иначе восходящее к высоким теософским смыслам пятикнижия Моисея и Нового Завета, в рассматриваемый период имело, разумеется, не только духовное, но и исключительно светское содержание и осознавалось современниками как главное орудие управления государством и главная прерогатива самодержца. В официальном и панегирическом контексте эта персона именовалась помазанником Божиим или Божиим министром и располагалась на самой вершине сословной пирамиды. Высочайшие решения реализовались с помощью *государственного закона*,¹⁵ который получил как бы второе издание своего возвышенного смысла, но уже через сакрализованный образ светского правителя.¹⁶

Политическая теория абсолютизма отличалась убежденностью в особой силе *регулярного* или *благоучрежденного* государства, призванного установить разумный миропорядок. В рассматриваемый период сложился свой идеальный образ монарха, черты которого в той или иной степени должны были воплощаться в персонах реальных правителей. Одной из наиболее ярких эталонных характеристик венценосной особы века Просвещения считался дар успешного преобразователя, пребывающего одновременно к искусствам и рациональным знаниям.¹⁷

Политическое мышление XVIII века образ монарха-законодателя связывало не с безграничной властью, а с талантом верховного правителя. Еще современники главную заслугу Екатерины II видели в укреп-

плении силы “российского главного права” и введении “непреложных законов”, которые и составляют “тело государства”.¹⁸

Большая часть исследователей придерживается мнения, что именно с правления Петра I главным источником права становится закон, на протяжении XVIII века подчиняющий своей регламентирующей силе все более обширное пространство социальной жизни. Теряющий значимость *обычай* продолжает оказывать еще ощутимое влияние лишь в среде крестьянства и сельской общины.¹⁹ В связи с этим в историографии выдвигается тезис об охранительном характере опирающегося на традицию законодательства в Московском государстве и реформаторской сущности правовой политики власти в XVIII столетии.

Действительно еще в 1722 году был издан именной указ *О хранении прав гражданских, о невершении дел против регламентов и имении сего указа во всех судебных местах на столе*. В этом документе формулировались положения, гарантирующие полный приоритет закона в правовой сфере. Все чиновники строжайшим образом должны были опираться в своих действиях на регламенты, знать и точно понимать их содержание. О случаях неизбежно возникающих противоречий между казусом и законом, когда “такое дело, что на оное ясного решения не положено”, предписывалось отправлять доношение в Сенат. В свою очередь от Сената и коллегий требовалось обобщать поступающие с мест данные и составлять “мнения”, которые становились основой нового указа, скрепляемого именем императора и включаемого в единую систему регламентов. Иными словами, отрицалась традиционная система, когда “законы писались всуе, их не хранили или играли как в карты, прибирай масть к масти”²⁰ Очевидно, что в этом указе отразился факт возникновения нового правового пространства, которое будет развиваться на протяжении всего XVIII столетия и основываться на следующих принципах: строгое следование законам, действующим на основе преемственности, целенаправленное устранение пробелов в нормативных актах, правовое просвещение должностных лиц и т. п.

Тем не менее единственным источником законов о “государственных генеральных делах” на протяжении всего столетия оставался самодержавный монарх: законодательство определялось волей императора и являлось ее выражением. Этот тезис сохранял свою актуальность на протяжении всего XVIII столетия и в практике принятия новых правовых актов, и в сфере общественного сознания, и в отношении самооценки верховной власти. Абсолютный правитель являлся главным субъектом законотворчества, поскольку право издания новых законов принадлежало только императору, а Сенат, Синод, коллегии и другие учреждения могли лишь обращаться к нему с предложениями. Поданные воспринимали решения самодержца как закон, что еще более возвы-

шало образ монарха и препятствовало формированию собственно правового мышления у современников.²¹

В официальной доктрине вполне логично аргументировалось тождество воли монарха и закона, авторитет которого гарантировался “самодержавною, от Бога данною властью”.²² “Общество не может быть без правления”, – провозглашалось в *Генерал-прокурорском наказе при Комиссии о составлении проекта нового Уложсения*:

[...] соединение всех особенных сил составляет то, что называют состоянием государственным. Сия общая сила в России вручена одному и то есть ее естественное положение. [...] Империя перестала бы быть могущественна, если б иначе управляема была.²³

Несмотря на то, что в первых строках *Наказа* Россия была провозглашена “европейской державой”,²⁴ официальная идеология постоянно настаивала на принципиальной особенности империи, определяемой ее громадной территорией. В документах, исходящих от престола, неоднократно отмечалось, что в “столь обширном” государстве возможно лишь единоличное самодержавное правление и крайне опасно любое “раздробление и ослабление” власти.²⁵ В данном контексте указывалось что и Петр Великий понимал, насколько условия, обычаи и традиции России отличаются от “всех прочих европейских государств, кои он видел”. Именно поэтому первый император “с удивительным разумом своего проницанием узнал”, что следует “ему самому всем управлять”.²⁶ Все усилия и Петра, и Екатерины II направлялись на “пользу Империи”, “ибо сохранение в целости Государства есть самый высочайший закон”.²⁷

Перу Екатерины принадлежит и собственная *Правда воли монаршей*, которую она назвала “О преимуществе Императорского Величества”.²⁸ Этот документ императрица тщательно прописала в черновом варианте, а затем подготовила беловую рукопись. Неопровергимые “преимущества” самодержавного правления были сформулированы в записке предельно четко: в руках монарха сосредоточена неограниченная власть, дающая ему исключительное право “чинить мир и войны”, “посыпать послов”, “жаловать достоинство, чины, имение” “кому заблагорассудит”, “простить вины” и помиловать.

Вслед за Петром, провозгласившим “Его Величество есть Самовластный Монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не должен”,²⁹ Екатерина столь же властно подводит в своей записке черту – император “отчету же в делах на сем свете не подвержен”, а дает отчет и “благодарение Единому Творцу Нашему Богу”.³⁰ Однако подобная бесконтрольность оказалась обременительной прежде всего для абсолютной власти.

“Монаршее слово” и “непременные законы”

На протяжении XVIII века российские императоры сами неоднократно пытались разграничить любое “государево слово” и закон. Устные распоряжения противопоставлялись “письменным и зарученным” указам еще по Генеральному регламенту 1720 года. В традициях петровского законодательства параграф IV “Об исполнении указов” сопровождался доходчивым толкованием. Пояснялось, что словесные приказы пригодны только для подготовки письменных.³¹

После смерти Петра I ставилось под контроль, прежде всего, содержание повелений, объявляемых от лица монарха, собственное же высочайшее слово не подлежало регламентации и имело силу закона. Однако определялись наиболее важные государственные дела – “выдача сверх штату денег и прочее тому подобное, что регламентам противно” – решение по которым должно приниматься только на основании указов, лично подписанных либо императрицей, либо членами Верховного тайного совета.³²

При Анне Иоанновне действие устных высочайших указов было ограничено лишь придворной сферой, “что до строения домов и садов наших надлежит”. В масштабе же всей страны именной указ признался действительным только за подписанием самой императрицы, или трех кабинет-министров.³³ В царствование Елизаветы Петровны слово монарха получает еще более жесткую регламентацию. В 1743 году императрица предписала “в Сенат никаких предложений [...] без письменных наших указов за нашею рукою в действие не производить”.³⁴ Петр III из компетенции устных распоряжений изъял решения о “лишении живота, чести и имения”, “раздачу денежных сумм свыше 10000 рублей”, “награждение деревнями и чинами свыше подполковника”. Также объяснялось, что словесные повеления императора не должны противоречить уже принятым законодательным актам и могут доводиться до сведения подданных лишь сенаторами, генерал-прокурором и президентами первых трех коллегий. Более того, император потребовал еженедельно предоставлять ему копии его же словесных распоряжений с “надлежащею отметкою об исполнении”.³⁵

3 июля 1762 года Екатерина II практически полностью воспроизвела содержание этого указа, лишь через несколько месяцев включив генерал-адъютантов и правящего Кабинетом Ее Величества в круг государственных лиц, имеющих право объявлять словесные повеления высочайшей персоны. В начале 1763 года список чиновников, провозглашающих государеву волю был дополнен за счет духовного ведомства обер-прокурором и членами Синода.³⁶

Таким образом постепенно формировалось представление о законе как о воле государя, соответствующим образом зафиксированной и

оформленной. При этом специфика законодательства как источника, рассчитанного не просто на провозглашение, а прежде всего на неукоснительное исполнение, определила характер наиболее важных нормативных актов. Особой значимостью были наделены именные своеручно подписанные указы, устанавливающие новые юридические нормы и доводимые до сведения всего населения, поскольку “закон силу свою приемлет от того времени, когда получен и обнародован будет”.³⁷ Подобная тенденция в направлении разграничения слова императора и закона повышала ответственность венценосной особы за принимаемые решения и стимулировала рост уважения подданных именно к законодательному акту, а не к любой прихоти монарха.³⁸

По всей видимости, Екатерина сама признавала обязанность высочайшей персоны следовать установленным правилам. В *Наказе* было заявлено, что “воля государева” должна быть наблюдаема “сходственно с законами, во основание положенными, и с государственным установлением”.³⁹ Приблизительно к этому же времени относятся и признания императрицы, сделанные в *Собственноручном черновом проекте манифеста о престолонаследии*, где она писала:

Испытав сердце наше, нашли мы во глубине оного твердое и *всегдашнее* желание исполнять [...] все части законодательства нашего, которому мы с 1766 года благополучное начало положили ⁴⁰ открытием комиссии об уложении.

Неслучайно и французский посол Луи Филипп Сегюр отмечал, что “Екатерина никогда не действовала так произвольно, как ее министры. Особенно Потемкин миловал и наказывал помимо законов, даже таких, которых строгое исполнение необходимо для общественной пользы”.⁴¹ С точки зрения некоторых современников, своевольство вельмож отчасти ограничивалось примером императрицы, имеющим, как свойственно любой монархии, значительное влияние на подданных. Так камер-юнкер при дворе Екатерины II князь Федор Николаевич Голицын в своих воспоминаниях точно подметил:

Люди портятся без сомнения, но портятся от дурных примеров. Сии рассуждения опять меня обращают к Императрице. Во время ее царствования все было важно, почтенно. Она умела себя так вести, что каждый вельможа ее почитал и любил и старался также на нее походить. Вольтер написал:

Когда Август пил, вся Польша была пьяна.

Вот как сильно действует над подданными пример государя! [...] Верховная власть не должна бы никогда выходить из круга, предписанного законами.⁴²

Законодательство было главным каналом обращения престола к населению империи и потому наделялось не только контролирующей, но также и мощной воспитательной силой, что приводило к неожиданному соединению регулирующего и назидательного начала в текстах высочайших указов. Кабинет Екатерины II и Сенат обрушивали на подданных нескончаемый поток *манифестов, регламентов, учреждений, наставлений, уставов, инструкций* и т. д.⁴³ Все эти правовые акты объединялись словом *указ* и были обязательны для неукоснительного исполнения. Но в то же время жанровая размытость законодательных документов второй половины XVIII века⁴⁴ не мешала современникам придавать понятию *закон* более высокий и общий смысл, чем слову *указ*. Анализ языка как официальных источников, так и источников личного происхождения свидетельствует, что человек XVIII столетия повиновался именно “законам”, “поступал по точной силе закона”, а иногда действовал “в ущерб закону” и за это нес наказание “по всей строгости закона”⁴⁵.

Императрица в свою очередь пыталась упорядочить запутанную юридическую терминологию. “Под словом *законы*, – писала Екатерина, – разумеются все те установления, которые ни в какое время не могут перемениться. [...] Имя *указы* заключает в себе все то, что для каких-нибудь делается приключений, и что только есть случайное и может со временем перемениться.”⁴⁶ В данном контексте сближение понятий *закон* и *указ* происходило, если слово *указ* сопровождалось знаковыми определениями – *непременный, непеременяемый, фундаментальный* и даже *священный*.⁴⁷ В *Наказе* созданной в 1767 году Уложенной комиссии непосредственно было сказано – указы могут быть забвению *преданные, вредные, темные*, и для того, чтобы знать “каким указам должно повиноваться”, существуют *законы, основание державы составляющие, твердые и неподвижные*.⁴⁸

Непременные фундаментальные государственные законы и власть, и фронтирующая элита, следуя за доктами века Просвещения, наделяли особой силой, способной установить разумный порядок и привести к всеобщему благоденствию. Но если престол видел в них залог устойчивости самодержавного правления, то оппозиционно настроенная аристократия – определенную страховку от *самовластия*, когда “Государь [...] не может ознаменовать ни могущества, ни достоинства Своего иначе, как постановя в государстве своем правила не-преложные, [...] которых не мог бы нарушить сам, не престав быть достойным Государем”.⁴⁹ Так понятие *закон* постепенно превращалось и в орудие политического дискурса.

В общественно-политической лексике XVIII века понятия *самовластие* и *самодержавие* имели разное, иногда даже противоположное значение.⁵⁰ *Самовластие* отождествлялось с *беззаконием, деспотизмом*

и очень часто с *фаворитизмом*, ненавистным для правящей элиты и дворянской родовой аристократии. Характерно, что последние наставления своему воспитаннику великому князю Павлу Петровичу граф Никита Панин выдержал в присущей ему стилистике семиотических сравнений.

Канцлер противопоставил такие понятия как *просвещенный монарх*, располагающий *неограниченной властью*, или *самодержец*, и *государственные законы*, с одной стороны, и *самовластие*, *тиранство*, *деспотическое правление*, *государев любимец* или *фаворит*, с другой.

Просвещенный МОНАРХ, облекшись в неограниченную власть, сам тотчас ощутит, что прямое самовластие тогда только вступает в истинное свое величество, когда само у себя отъемлет возможность к сodelанию какого-либо зла. [...] ГОСУДАРЬ Самовластнейший на недостатке Государственных законов чает утвердить СВОЕ самовластие. Поработлен одному или нескольким рабам Своим, почему он САМОДЕРЖЕЦ? Разве потому, что САМАГО держат в кабале недостойные люди? [...] тщетно пишет Он новые законы: новые законы Его будут ни что иное как новые обряды, запутывающие старые законы, народ все будет угнетен, дворянство унижено, и несмотря на собственное Его отвращение к тиранству, правление Его будет правление тиранское, [...] все частные интересы, раздробленные существом деспотического правления, не чувствительно в одну точку соединятся. В таком развращенном положении, злоупотребление самовластия восходит до невероятности, и уже престает всякое различие между Государственным и ГОСУДАРЕВЫМ, между ГОСУДАРЕВЫМ и любимцовым.⁵¹

Канцлер был убежден, что *фундаментальные законы*, составленные самим *самодержцем*, но *непременные* и для него самого, оградят страну от *деспотической тирании* или *самовластия*. Картина политического неблагополучия складывалась для Никиты Панина из *угнетения народа* и *унижения дворянства*, как сословия, для которого особое значение имело представление о чести и достоинстве,⁵² а также из отсутствия действенных *новых законов*. Завещание канцлера, записанное другом свободы Фонвизиным, через племянника писателя, будущего декабриста, станет вдохновляющим фактором для отважных молодых людей Александровского правления, поддерживаемых мыслью, что и “отцы” мечтали о конституции. Однако в словах Панина, неопубликованных, необнародованных, доверенных перед смертью другу, и адресованных воспитаннику, речь идет вовсе не о конституции, а об идее “*самограничения власти*”, которая как единственный монопольный источник закона, собственно одна и может себя ограничить, а вернее ограничить

свои пристрастия и зависимость от капризов любимцев. Данный тезис о законодательном “самоограничении” прерогатив императора был в целом самодержавным по своему пафосу.

“Где произвол одного есть закон, нет граждан”

Авторы правовых документов, а иначе говоря, *законоискусники*, в роли которых часто выступал сам *законоположник*, всемерно стремились повысить эффективность исполнения законов и усилить их регулирующую функцию социального контроля. Власть не просто жестко требовала исполнять всенародно объявленные указы, чтобы “неведением никто не отговаривался”. Престол воспитывал у подданных уважение к закону, непосредственно связывая правовые акты с непрекаемым авторитетом правящей императрицы и акцентируя преемственность “подлежащих вечности законов” с указами предшествующих правлений. Екатерина пристрастно следила за четкими формулировками и ясным слогом законов, а также не допускала отмены уже провозглашенных указов. Она исходила в своих постановлениях из “здравого смысла”, “природной склонности” подданных и “мыслей просвещенной части народа”. Однако способность императрицы “уведывать” “мысли просвещенной части народа” точнее будет называть умением манипулировать настроениями политической элиты, на которую собственно и была расчитана регулятивная функция законодательства. Что же касается податных людей, составляющих большую часть населения империи, то закон для них был императивом без каких-либо толкований, а сами они сливались в безликую массу, обязанную поставлять рекрутов “по три человека с 500 душ”.

Однако не только тот факт, что, как писал Радищев, “земледельцы и доднесь в законе мертвы”,⁵³ но и целый ряд других обстоятельств придавали понятию *закон* в русском языке второй половины XVIII века несколько умозрительный и идеальный смысл. Прежде всего, в силу своих функций любой правовой акт отражает не столько реалии развития общества, сколько представление власти о том, каким оно должно быть. “Одной из основных особенностей русской культуры послепетровской эпохи, – пишет Ю. М. Лотман, – было своеобразное двоемирие: идеальный образ жизни в принципе не должен был совпадать с реальностью, [...] что выражалось в создании законов, не рассчитанных на реализацию (Наказ), и законодательных учреждений, которые не должны были заниматься реальным законодательством (Комиссия по выработке нового уложения).”⁵⁴ Собственно здесь речь идет о репрезентативной функции законодательства, призванного не только осуществлять социальный контроль, но и поддерживать величественный образ престола в

восприятии подданных и позитивный образ империи в глазах европейского общественного мнения.⁵⁵

Кроме того, простая истина, что объявление указа “во всенародное известие” еще не означает его реализацию, придавало правовым актам оттенок некой идеальной абстракции, к которой необходимо стремиться. Неоднократное издание на протяжении правления Екатерины законов одного содержания свидетельствовало о сбое в их исполнении. Так с 1762 по 1796 год было опубликовано более двадцати именных и сенатских указов, увещевающих чиновников “воздерживаться от лихоимства”, содержащих “меры к прекращению взяток”, наказывающих за “корысть и отягощение народа поборами”.⁵⁶ Как известно, “серебро-любие” продолжало процветать, но при этом нельзя сказать, что закон был бессилен – настойчивость власти, осуждающей “гнусную наживу”, задавала определенную нравственную планку и формировалась систему предпочтений.

Особенности функционирования имперской бюрократической машины лишь усиливали размытость смыслового содержания понятия закон. Историк XIX века А. Г. Брикнер в биографии немецкого теолога и педагога пастора А.-Ф. Бюшинга воспроизвел разговор проповедника и основателя Московского воспитательного дома И. И. Бецкого.

Бецкой пригласил к себе Бюшинга, и, между прочим, обратился к нему с несколько щекотливым вопросом, как он думает об указах императрицы. “Эти указы, – замечает Бюшинг, – были наполнены общими размышлениями (*raisonnirende Ukasen*)”. Ему было очень неловко ответить на вопрос Бецкого, однако с свойственно ему смелостью он сказал: “Указы отличны и делают честь ее величеству; нельзя, однако, не сожалеть о том, что они во всяком случае останутся бесплодными”. Бюшинг говорил о недостаточном развитии народа, о необходимости подвинуть вперед дело народного воспитания, об учреждении школ и проч.⁵⁷

Многие государственные чиновники плохо знали правовые акты, иногда “превратно” их толковали, порой следовали уже отмененным указам и даже позволяли себе собственное законотворчество.⁵⁸ Непосредственным свидетельством превращения закона в некий неосязаемый фантом являются практически ежегодно “объявляемые во всенародное известие” указы о “предоставлении рапортов об исполнении именных и сенатских указов”. Все присутственные места обязаны были составлять реестры неисполненных указов и иметь в канцеляриях “записки” о поступивших из столиц правительственный бумагах, чтобы “непрестанно в памяти было”. “Нерачительных” чиновников, допускающих “беззаконную волокиту”, наказывали в соответствии со специально разработанной системой штрафов⁵⁹ или вообще отрешали от дел. Для

канцелярий, коллегий и контор устанавливались сроки отчетов о получении высших распоряжений, сроки предоставления рапортов о ходе дел и окончательном исполнении указа, оговаривались случаи “вторичного указа” и даже ситуации, когда Сенат или кабинет императрицы вынуждены были отправлять “третий принудительный указ”. Вспоминая о первых годах своего правления, императрица писала: “Сенат, хотя посыпал указы [...] в губернии, но тамо так худо исполняли [...], что в пословицу почти вошло говорить: ‘ждут третьего указа’, понеже по первому и по второму не исполняли.”⁶⁰

Вообще “партикулярный” человек из среды высшего сословия скептически относился к возможности торжества закона в собственной жизни. Анализ прошений на высочайшее имя, которые, кстати сказать, могла позволить себе только политическая элита, обнаружил стоическую веру подданных лишь в милосердие императрицы.⁶¹ И. М. Булгаков, отправляя своему сыну, знаменитому дипломату Якову Ивановичу Булгакову, копию “с учиненного в Сенате о деревнях матери твоей беззаконного определения”, писал: “Не можно ли к ее императорскому величеству послать письмо, дабы не царствовала неправда над правдою!” Во время препирательств с генерал-прокурором А. А. Вяземским по поводу оклада директора Академии наук Е. Р. Дацкова писала Екатерине II: “Смею просить Ваше Величество, дайте полную свободу Вашему великодушию в отношении меня, и я вполне уверена, что тогда мне окажут полную справедливость и даже впредь будут защищать от проявлений незаслуженного мною гонения.”⁶² Попытка защиты собственных прав на основании закона была оправдана лишь в отношении других представителей политической верхушки, но никак не монарха. Поэт А. П. Сумароков мог гневно заявлять, что “фельдмаршал подчиняется законам, а не законы ему”, “он полномочие имеет; однако полномочие его под законом, а не над законом”, но при этом смиленно добавлял “я подданный ваш, а не его, всенижайший и преданнейший раб”.⁶³

Никакой корреляции между существованием закона, правосудием, гарантированными привилегиями высшего сословия, с одной стороны, и надеждой на справедливость, с другой, в сознании дворянина не существовало. Высшие сановники, сенаторы, авторы многочисленных указов и манифестов, в случае необходимости даже не помышляли об апелляции к закону, а упивали только на высочайшую милость, расположение фаворита, а если повезет и беспространственное обращение. В своих записках Державин, вспоминая о подготовке помещений Сената к заседаниям, воспроизвел сцену, в которую как поэт-классик вложил метафорический смысл:

[В] зал[е] общего собрания [...] между прочими фигурами была изображена скульптором Рашеттом Истина нагая, и стоял тот барельеф к лицу сенаторов; то когда изготовлена была та зала и генерал-прокурор князь Вяземский осматривал оную, то, увидев обнаженную Истину, сказал экзекутору: “Вели ее, брат, несколько прикрыть”. И подлинно, с тех почти пор стали более прикрывать правду в правительстве, потому что князь Потемкин не весьма любил повиноваться законам.⁶⁴

Так ряд этимологических смыслов понятия *закон* замыкался в некий неразрывный круг, вращающийся вокруг слов *самодержавие, самовластие, произвол, подданные, государство* из знаменитого высказывания Панина-Фонвизина.

Где же произвол одного есть закон верховный, тамо прочная общая связь и существовать не может; тамо есть Государство, но нет Отечества; есть подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей.⁶⁵

Кажется, преодолеть это завораживающее вращение можно было лишь через новый взгляд на понятие *гражданин*.

Гражданин и подданный

В русском языке XVIII века термин *гражданин* выражал прежде всего взаимоотношения государства и личности и встречался в законодательстве, публицистике, а также в художественной и переводной литературе. На основании словарей XVIII века можно было бы сделать вывод, что первоначальное значение слова *гражданин*, подразумевающее жителя города (града), сохраняло свою актуальность и в рассматриваемое время.⁶⁶ Однако в данном случае словари отражают более раннюю языковую традицию. Неслучайно в *Грамоте на права и выгоды городам Российской империи* 1785 года жители городов именуются не просто “гражданами”, а “верноподданными гражданами городов наших”, которые по терминологии официальных документов Екатерининского царствования объединялись в неопределенную по своему социальному составу группу “в городе живущих”, включающую “дворян”, “купцов”, “именитых граждан”, “среднего рода людей”, “городских обывателей”, “мещан”, “посадских” и т. д.⁶⁷ Показательно, что Павел I с тем, чтобы выхолостить из понятия *гражданин* все в той или иной степени опасные для самодержавия смыслы, вынужден был волей императорского указа возвращать содержание этого термина к своему первоначальному зна-

чению. В апреле 1800 года приказывалось не употреблять слова “гражданин” и “именитый гражданин” в донесениях на высочайшее имя, а писать “купец или мещанин” и соответственно “именитый купец или мещанин”.⁶⁸

На мой взгляд, важнейшим этапом углубления смыслового значения понятия *гражданин* в русском языке второй половины XVIII века стал *Наказ Уложенной комиссии*, в котором только этот термин, без учета таких выражений, как “гражданская служба”, “гражданская свобода” и т. п., встречается более 100 раз, в то время как упоминаний слова “подданный” насчитывается лишь 10. Для сравнения следует отметить, что в законодательных актах второй половины XVIII в. это соотношение выглядит приблизительно как 1 к 100 и свидетельствует о достаточно редком употреблении понятия *гражданин* в официальных документах рассматриваемого периода. В *Наказе*, лишенном жестких регламентирующих функций и основанном на трудах Монтескье, Беккарии, Бильфельда и других европейских мыслителей, возникал абстрактный образ “гражданина”, имеющего в отличие от “ревностного российского подданного” не только обязанности, но и права. “Имение, честь и безопасность” этого отвлеченного социального субъекта, проживающего в неком “благоучрежденном умеренность наблюдающем государстве”, охранялись одинаковыми для всех “сограждан” законами.⁶⁹ Гигантское расстояние между социальной утопией *Наказа* и реальностью не умаляет, тем не менее, принципиального воздействия юридических штудий императрицы на образ мыслей образованной элиты. Сам факт присутствия в документах, исходящих от престола, пространных рассуждений о “гражданской вольности”, “равенстве всех граждан”, “спокойствии гражданина”, “гражданских обществах” и т. п., подспудно стимулировал усложнение смыслового содержания этих понятий в языке и сознании современников.

Контекст употребления понятия *гражданин* в официальных текстах обнаруживает всю специфику его смыслового содержания в русском политическом языке XVIII века. Обращает на себя внимание полное отсутствие конфликтного противопоставления терминов *гражданин* и *подданный*. В книге о *Должностях человека и гражданина* в обязанности каждого вменялось “твердо уповать, что повелевающие ведают, что государству, подданным и вообще всему гражданскому обществу полезно”.⁷⁰ В законодательстве о *гражданине* упоминалось, как правило, лишь когда в именных указах императрицы цитировался *Наказ*⁷¹ или когда речь шла о “состоянии граждан Республики Польской, отторгнутых от анархии и перешедших во владение Ее Величества” на “правах древних подданных”.⁷² В общественной публицистике нередки были случаи прямого отождествления понятий *гражданин* и *подданный*. Так Новиков полагал, что в учении розенкрейцеров нет ничего “противного

христианскому вероучению”, а орден “требует от своих членов, чтобы они были лучшими подданными, лучшими гражданами”.⁷³

Подобное словоупотребление свидетельствовало, прежде всего, о том, что в середине XVIII в. и для власти, и для большинства современников понятие *гражданин* не было символом противостояния абсолютизму. Этот термин часто употреблялся с тем, чтобы акцентировать не только существование всеобщей зависимости подданных от престола, но и наличие так называемых горизонтальных отношений между жителями империи, которые в данном случае именовались *согражданами*. Так, собравшиеся для составления нового Уложения депутаты, с одной стороны, “представляли всех Ее Величества верноподданных”, а с другой – были “избраны от сограждан”⁷⁴. В книге *О должностях человека и гражданина* непосредственно указывалось, что “подданный” имеет обязанности перед государством, а “гражданин” перед “другими согражданами”, “державствующие” же защищают “своих подданных” “от внешних неприятелей и от обид других сограждан”⁷⁵.

Права *гражданина*, заявленные на страницах высочайшей публицистики, ограничивались лишь сферой имущества и безопасности, абсолютно не затрагивая область политики. При этом не реже, чем о правах, упоминалось об обязанностях *истинного гражданина*, которые ничем не отличались от обязанностей *истинного подданного*.

В таких документах, как *Генеральный план Московского Воспитательного дома*, а также высочайше утвержденный доклад И. И. Бецкого *О воспитании юношества*, основные идеи которого были практически дословно воспроизведены в XIV-й главе *Наказа “О воспитании”*, заявлялось, что “Петр Великий создал в России людей: [императрица Екатерина II] влагает в них души”. Иными словами, престол второй половины XVIII в. разрабатывал “правила, приуготовляющие” быть “желаемыми гражданами” или “прямymi отечеству подданными”, что полностью отождествлялось. Наименование *новых граждан и истинных подданных* означало высокий порог ожиданий власти, что предполагало “любовь к отечеству”, “почтение к установленным гражданским законам”, “трудолюбие”, “учтивость”, “отвращение от всяких предрассудков”, “склонность к опрятности и чистоте”. На “полезных членов общества” налагалась обязанность “паче прочих подданных исполнять Августейшую волю”. Определенная политическая зрелость и приверженность “общему благу” должна была проявляться у *гражданина* в ясном понимании необходимости сильного самодержавного правления или “нужды иметь Государя”⁷⁶. Так объективная экономическая потребность России в ведущей роли государственной власти и способность ее осознания трансформировались в официальной идеологии в высшую добродетель *гражданина и подданного*.

“Не дорого ценю я громкие права”

Возвращаясь к уже приводимой цитате из проекта Н. И. Панина *О фундаментальных законах*, который сохранился в записи его друга и единомышленника Дениса Фонвизина, можно утверждать, что некоторые представители образованной элиты осмелились противопоставить понятие *подданный* понятию *гражданин*. В этом политическом трактате смысловое содержание слова *гражданин* конфликтно сталкивалось и с такими антонимами, как *деспот*, *пристрастное покровительство*, *злоупотребления власти, прихоть*, а также углублялось с помощью синонимического ряда, включающего понятия *закон, прямая политическая вольность нации, свободный человек*. Таким образом, в общественном сознании второй половины XVIII века постепенно складывалась иная, альтернативная официальной, трактовка слова *гражданин*, в котором высшая политическая элита дворянства начинала видеть человека, защищенного *законом* от своеволия самодержца и его личных высочайших пристрастий. Спустя несколько лет после появления проектов Панина-Фонвизина новый канцлер А. А. Безбородко напишет: “[...] да истребятся все способы потаенные и где кровь человека и гражданина угнется вопреки законов”.⁷⁷

Мыслящий дворянин ожидал от *истинного гражданина*, коим почитал и себя, определенной политической зрелости и чувства личной ответственности за Отечество, но не за самодержавное государство. Не случайно в проекте Панина-Фонвизина отчетливо прозвучало мнение, что понятие *Отечество* не исчерпывается образом абсолютной монархии Екатерины. Вспоминая о конфликте императрицы и частного издателя, мыслителя и розенкрайцера Новикова, Н. М. Карамзин писал: “Новиков как гражданин, полезный своею деятельностию, заслуживал общественную признательность; Новиков как теософический мечтатель по крайней мере не заслуживал темницы.”⁷⁸ Наконец, в текстах некоторых представителей дворянской элиты понятие *гражданин* сопоставлялось с понятием “человек”. Следуя за взглядами Руссо “о переходе от состояния естественного к состоянию гражданскому”,⁷⁹ Радищев полагал, что “человек рождается в мир равен во всем другому”, соответственно “государство, где две трети граждан лишены гражданского звания” не может называться “блаженным” – “земледельцы и доднесь между нами рабы; мы в них не познаем сограждан нам равных, забыли в них человека”.⁸⁰

Следует отметить, что в целом понятие *гражданин* довольно редко употреблялось в художественных произведениях и публицистике второй половины XVIII столетия, а в частной переписке и вовсе почти не встречалось. Как ни странно, наибольшей популярностью этот термин пользовался у “просвещенной императрицы”. В рамках же всего ком-

плекса привлеченных к работе текстов⁸¹ понятие *гражданин* употреблялось не спорадически, а для целенаправленной характеристики отношения личности и государства лишь в проектах Панина-Фонвизина и *Путешествии из Петербурга в Москву* Радищева. В первом случае, гражданин становился символом монархии, где престол окружают не фавориты, а защищенная законом государственная элита, во втором же – право на политическую дееспособность признавалось и за крепостным, имеющим “одинакое от природы сложение”.⁸² Данные идеи нельзя признать уникальными и существующими лишь в сознании упомянутых авторов – подобные мысли были весьма характерны для оппозиционно настроенного дворянства, однако далеко не всегда выражались с помощью термина *гражданин*.⁸³ Так М. Н. Муравьев, показывая свое отношение к крестьянину, использовал антитету *простой-знатный*:

В тот же самый день простой крестьянин внушил в меня почтение, когда я взирал с презрением на знатного, недостойного своей породы. Я почувствовал всю силу личного достоинства. Оно одно принадлежит человеку и возвышает всякое состояние.⁸⁴

И даже Фонвизин в собственных литературных произведениях довольно редко обращался к понятию *гражданин*, которое вообще не встречается в его *Опыте российского словника*, а в размышлениях о положении крепостных используются другие термины:

Человек бывает *низок* состоянием, а *подл* душою. В *низком* состоянии можно иметь благороднейшую душу, равно как и весьма большой барин может быть весьма *подлый* человек. Слово *низость*⁸⁵ принадлежит к состоянию, а *подлость* к поведению.

Самовластие в России второй половины XVIII века будет ограничено не гражданином, требующим гарантированных законом прав, а личностью с независимой духовной жизнью, и не в области политики, а в сфере внутреннего мира фронтирующего дворянина. Начавшееся ослабление союза образованной элиты и государства применительно к данному периоду проявится на уровне оценочных реакций и терминологических предпочтений. Преодоление непререкаемого авторитета самодержавного правления будет заключаться в поиске иных сфер реализации личности, относительно независимых от имперского аппарата, престола, светской массы. Наиболее думающая и остро чувствующая часть интеллектуалов отдалится от верховой власти и все более настойчиво будет пытаться осуществить себя на социальной периферии, удаленной от эпицентра действия официальных ценностей. Этот по-своему уникальный для европейской истории процесс, в силу неоднозначности проявлений приобретший в литературе целый репертуар

наименований – возникновение общественного мнения, самоопределение интеллигентской аристократии, эмансипация культуры, формирование интеллигенции⁸⁶ – начнется уже в царствование Елизаветы и завершится в первой половине XIX столетия. Суть его будет выражена в строках ‘Из Пиндемонти’:

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
.....
Зависеть от властей, зависеть от народа –
Не всё ли нам равно? Бог с ними.
 Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
 – Вот счастье! вот права...

Целенаправленная работа с терминологией исторического документа может рассматриваться как инструмент изучения источника, облегчающий путь от понимания текста к пониманию внетекстовой действительности. Исследователь при этом вступает в зону особого напряжения, которое неизменно возникает между документом и реальной жизнью и несет информативный заряд большой силы. Эволюция языка может быть уподоблена барометру, способному уловить самое начало глубинных социальных сдвигов, когда у историка создается впечатление, что понятие возникает раньше того или иного явления. С другой стороны, в обществе часто происходят процессы, которые не имеют словесной идентификации и осмысливаются лишь спустя несколько поколений. Язык эпохи постоянно эволюционирует под влиянием многих обстоятельств и в то же время сам является индикатором изменений в обществе, фактором, влияющим на сознание современников, действенным орудием социального контроля со стороны политической власти и средством политического дискурса.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Ведущими представителями этого направления в развитии исторической науки считаются Р. Козеллек, К. Скиннер, М. Покок: R. Koselleck, *Historische Semantik und Begriffsgeschichte*, Stuttgart, 1979; Q. Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought*, Cambridge, 1978; J.G.A. Pocock, *Politics, Language and Time: Essays in Political Thought and History*, London, 1972. Подробное историографическое исследование так называемого “лингвистического поворота” предпринял в своей обобщающей монографии Н. Е. Копосов: *Как думают историки*, Москва, 2001, сс. 284-294.
- ² См., например, *Словарь русского языка XVIII века*, вып. 7, Санкт-Петербург, 1992, сс. 244-251.
- ³ *Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Собрание 1-ое*, Санкт-Петербург, 1830 (далее – *ПСЗ*), т. XVIII, № 12957, сс. 311, 317, 1767, 11 августа.
- ⁴ *ПСЗ*, т. XX, № 14233, сс. 1-15, 1775, 10 января.
- ⁵ *ПСЗ*, т. XXI, № 15379, сс. 464-465, 1782, 8 апреля.
- ⁶ *ПСЗ*, т. XVIII, № 12945, с. 181, 1767, 24 июля.
- ⁷ *ПСЗ*, т. XVIII, № 12950, с. 281, 1767, 30 июля.
- ⁸ В данном контексте не рассматриваются преступления клира, а также светских людей против интересов веры и церкви.
- ⁹ *ПСЗ*, т. V, № 3006, сс. 366-368, 379 и др., 1716, 10 января.
- ¹⁰ РГАДА, ф. 10, опись 3, д. 4, лл. 55об-57; д. 6, лл. 41об-42, 46 и др.
- ¹¹ РГАДА, ф. 22, опись 1, д. 170, лл. 1-72об.
- ¹² См.: *ПСЗ*, т. XVI, № 11616, сс. 22-23, 1762, 18 июля; т. XVII, № 12600, сс. 615-620, 1766, 24 марта.
- ¹³ См., например, *ПСЗ*, т. XX, № 15029, сс. 954-955, 1780, 2 июля; т. XXII, № 16168, с. 325, 1785, 18 марта; т. XX, № 14996, сс. 926-927, 1780, 21 марта.
- ¹⁴ В. М. Живов справедливо полагает, что в целых категориях дел узаконенная смертная казнь вообще не применялась и означала самую суровую угрозу, но никак не наказание (В. М. Живов, *История русского права как лингвосемиотическая проблема*, Москва, 2002, с. 258; см. также: С. К. Викторский, ‘История смертной казни в России и современное ее состояние’, *Ученые записки имп. Московского университета. Отд. юридический*, вып. 41, Москва, 1912, с. 112).
- ¹⁵ Государственные законы иногда также определялись как *светские* или *гражданские* (см.: *ПСЗ*, т. XVIII, № 13095, с. 505, 1768, 8 апреля).
- ¹⁶ Эволюция восприятия юридических норм в русском обществе детально рассмотрена в работах В. М. Живова. Тезисно концепция автора сводится к следующему: с момента принятия христианства в России существует два права – церковнославянское, базирующееся на переводных византийских источниках, и русское, тесно связанное с обычаем и язы-

чеством. С середины XVII века законодательная деятельность получает культурный статус, теряет pragматическое значение и становится одним из инструментов культурных преобразований. См., например, В. М. Живов, *История русского права как лингвосемиотическая проблема*, сс. 187-305.

¹⁷ См., например, *Записка о воспитании детей, тут же писанная императрицей Екатериной II копия наставления, данного прусским королем Фридрихом-Вильгельмом подполковнику Рохову касательно воспитания старшего сына его величества 1779 г.* (РГАДА, ф. 2, опись 1, д. 113).

¹⁸ См., например, *Речь, говоренная от лица депутатов маршалом Ее императорскому величеству с признательностью за данный для сочинения Уложения Наказ* (ПСЗ, т. XVIII, № 12978, сс. 349-355, 1767, 27 сентября); Неизвестный автор, *Правило трактатов* (РГАДА, ф. 1274, опись 1, ч. 1, д. 162, лл. 264-265¹).

¹⁹ См., например, М. Ф. Владимирский-Буданов, *Обзор истории русского права*, Петроград-Киев, 1915, с. 270; Б. Н. Миронов, *Социальная история России*, Санкт-Петербург, 1999, т. 2, с. 137. Однако следует отметить, что общепринятое в исследованиях по истории права мнение о кардинальном изменении соотношения *обычая* и *закона*, за которым утверждался полный приоритет к началу XIX столетия, несколько огрубляет представление о реальной политике российской монархии. Достаточно заметить, что во время правления Екатерины II, когда шло стремительное расширение границ империи, был провозглашен принцип следования местным традициям при главенстве только фундаментальных государственных законов на период введения нового административного управления присоединенных территорий.

²⁰ ПСЗ, т. VI, № 3970, сс. 656-657, 1722, 17 апреля. Немаловажно, что “пространство” формировалось в буквальном смысле – данный указ следовало напечатать, наклеить на доску с подножием и выставить везде, “от Сената до последних судных мест, яко зерцало пред очами судящих”. Спустя некоторое время материализовалось и само зерцало в виде трехгранной призмы с расположенным на гранях указами Петра (см. об этом: W. Butler, ‘On the Formation of a Russian Legal Consciousness: the Zertsalo’, *Russia and the Law of Nations in Historical Perspective*, London, 2009, сс. 91-101).

²¹ А. Н. Медушевский вообще полагает, что “ключ к пониманию Просвещенного абсолютизма – борьба за введение власти в пределы законности; в этих попытках выявляется граница, которая отделяет монархию от деспотии, просвещенный абсолютизм от непросвещенного, законную монархию от полицейского или регулярного государства” (А. Н. Медушевский, ‘Проекты политических реформ в России XVIII в. [К становлению либеральной историографии]’, *Classical Russia. 1700-1825*, 2006, № 1, сс. 91-110).

²² ПСЗ, т. XXII, № 16407, с. 617, 1786, 28 июня.

²³ ПСЗ, т. XVIII, № 12950, сс. 282, 1767, 30 июля.

- ²⁴ Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложсения, под ред. Н. Д. Чечулина, Санкт-Петербург, 1907, с. 2.
- ²⁵ См., например, *Наказ императрицы Екатерины II*, сс. 3-5; *Секретнейшее наставление князю Александру Вяземскому* (РГАДА, ф. 10, оп. 1, д. 10, лл. 1-5; А. А. Безбородко, ‘Записка для составления законов российских’, *Чтения ОИДР*, 1858, кн. 3, сс. 137 и др.).
- ²⁶ См., например, ‘Генеральный план Московского Воспитательного дома’, *ПСЗ*, т. XVIII, № 12957, сс. 311, 317, 1767, 11 августа. В этом же документе с детской наивностью специально для воспитанников объяснялось, что без законов государя “истребили бы нас неприятели наши, растерзали бы нас дикие звери в жилищах наших” (там же, с. 316).
- ²⁷ *ПСЗ*, т. XVIII, № 12950, с. 283, 1767, 30 июля.
- ²⁸ ‘Записка императрицы Екатерины “О преимуществе Императорского Величества”, РГАДА, ф. 10, оп. 2, д. 324, лл. 1-4^г. Кроме того, в черновых бумагах императрицы была обнаружена неотредактированная записка ‘О роде и наследии Императорского Величества’, которая включала отдельные комментарии *Правды воли монаршей* и собственные соображения Екатерины по поводу назначения наследника престола правящим монархом, а также некоторые другие законодательные акты на английском и французском языках (РГАДА, ф. 10, оп. 2, д. 325). Для сравнения см.: ‘Устав о наследии престола’, *ПСЗ*, т. VI, № 3893, сс. 496-497, 1722, 5 февраля; ‘Правда воли монаршей’, *ПСЗ*, т. VII, № 4870, сс. 602-643, 1726, 21 апреля.
- ²⁹ См., например, ‘Воинский устав’, *ПСЗ*, т. V, № 3006, с. 324, 1716, 30 марта.
- ³⁰ РГАДА, ф. 10, оп. 2, д. 324, лл. 4-4^г.
- ³¹ *ПСЗ*, т. VI, № 3534, сс. 141-160, 1720, 28 февраля.
- ³² *ПСЗ*, т. VII, № 4862, сс. 596-597, 1726, 28 марта; № 4945, сс. 684-685, 1726, 5 августа.
- ³³ См.: *ПСЗ*, т. IX, № 6745, сс. 529, 1735, 9 июня; № 6773, с. 548, 1735, 16 июня.
- ³⁴ *ПСЗ*, т. XI, № 8695, с. 753, 1743, 10 января.
- ³⁵ *ПСЗ*, т. XV, № 11411, сс. 889-890, 1762, 22 января.
- ³⁶ См.: *ПСЗ*, т. XVI, № 11592, сс. 9-10, 1762, 3 июля; № 11704, с. 107, 1762, 7 ноября; № 11746, с. 152, 1763, 3 февраля.
- ³⁷ *ПСЗ*, т. XVII, № 12710, с. 875, 1766, 31 июля; т. XXII, № 15320, сс. 376-377, 1782, 10 января и др.
- ³⁸ Неслучайно в предназначенной для будущего императора Павла ‘Записке о государственном казенном правлении и о производстве дел, по свойству их рассмотрения и распоряжения его зависящих’, авторство которой принадлежит братьям Никите и Петру Паниным, особым образом оговаривалась процедура оформления устных распоряжений монарха. ‘Получив от государя приказание на доклады сделанное или особое его повеление, *словесное* или *письменное*, в назначенный журнал

об именных повелениях вписано быть должно, письменные повеления и резолюции на доклады подлинниками приобщаются в книгу указов, словесные повеления государственным казначеем в ту книгу запишутся” (РГАДА, ф. 1, оп. 1, д. 17, л. 54).

³⁹ *Наказ императрицы Екатерины II*, сс. 6-7.

⁴⁰ ‘Отрывок собственноручного чернового проекта манифеста Екатерины II о престолонаследии’, *Русская старина*, 1875, т. 12, № 2, с. 382. В подлиннике фразы, данные курсивом, специально выделены и вынесены на поля рукописи (РГАДА, ф. 10, описание 1, д. 12, л. 1).

⁴¹ *Записки графа Сегюра*, Санкт-Петербург, 1865, с. 320.

⁴² Ф. Н. Голицын, ‘Записки’, *Русский архив*, 1874, кн. 1, стб. 1292-1294.

⁴³ “До самого распада империи, – пишет Р. Уортман, – так и не возникло четкого различия между законом и административным распоряжением. Последнее имело ту же силу, а нередко и сферу действия, что и закон” (Р. Уортман, *Властители и судьи: развитие правового сознания в императорской России*, Москва, 2004, с. 64).

⁴⁴ “Вопрос о существовании у нас различия между законами и высочайшими указами, – писал историк права XIX века Н. М. Коркунов, – представляется спорным. В XVIII столетии и вплоть до учреждения в 1810 году Государственного совета у нас не было никакой определенной отличительной формы законодательных актов” (Н. М. Коркунов, *Указ и закон*, Санкт-Петербург, 1894, с. 309; см. также: А. В. Романович-Славатинский, *Система русского государственного права в его историко-догматическом развитии, сравнительно с государственным правом Западной Европы*, ч. 1: *Основные государственные законы*, Киев, 1886, сс. 186-187; А. С. Лаппо-Данилевский, *Собрание и Свод Законов Российской Империи, составленные в царствование императрицы Екатерины II*, Санкт-Петербург, 1898, с. 71; и др.)

⁴⁵ См., например, Г. Р. Державин, *Записки. 1743-1812*, Москва, 2000, сс. 10, 21, 87, 98-99 и др. Слово *указ* часто употребляли в значении *инструкция* или *учреждение*. Так в указе о процедуре доведения до сведения населения новых постановлений говорилось о “присланных высочайших указах, узаконениях, учреждениях” и проч. (*ПСЗ*, т. XXI, № 15612, с. 777, 1782, 13 декабря).

⁴⁶ *Наказ императрицы Екатерины II*, с. 5.

⁴⁷ См., например, указ о напечатании и обнародовании нового устава Кадетскому сухопутному корпусу (*ПСЗ*, т. XVII, № 12741, с. 973, 1766, 11 сентября); начертание о приведении к окончанию комиссии проекта нового уложения (*ПСЗ*, т. XVIII, № 13095, сс. 503-512, 1768, 8 апреля); ‘Прибавление к рассуждению, оставшемуся после смерти министра графа Панина, сочиненное генералом графом Паниным, о чем между ими рассуждалось иметь полезным для Российской Империи фундаментальные права, непременяемые на все времена никакою властью’, РГАДА, ф. 1, описание 1, д. 17, лл. 26-31.

⁴⁸ *Наказ императрицы Екатерины II*, с. 5.

- 49 ‘Проект Н. И. Панина о фундаментальных государственных законах (в записи Д. И. Фонвизина)’, *Император Павел I. Жизнь и царствование*, сост. Е. С. Шумигорский, сс. 4-13. Авторская маркировка слов в тексте сверена с первоисточником: РГАДА, ф. 1, опись 1, д. 17, лл. 5-17^т.
- 50 Примечательно, что и молодой Пушкин писал именно о “самовластильном злодее” и “обломках самовластья”.
- 51 ‘Проект Н. И. Панина о фундаментальных государственных законах (в записи Д. И. Фонвизина)’, *Император Павел I. Жизнь и царствование*, сост. Е. С. Шумигорский, Москва, 1907, сс. 4-13. Авторская маркировка слов в тексте сверена и откорректирована по первоисточнику: РГАДА, ф. 1, опись 1, д. 17, лл. 5-17^т.
- 52 Общепризнанность подобных идей среди политически активной знати отразилась и в записках М. М. Щербатова *О самовластии*, где князь ставил под сомнение вообще возможность называть *самовластие* “именем правления”: “[При самовластии] нет иных законов и иных прав окромя безумных своеволий деспота (самовластителя). Место, что в монархии государь есть для народа, в самовластном правлении народ является быть сделан для государя” (М. М. Щербатов, *Разные сочинения*, Москва, 1860, сс. 37-48; см. также: *Рукописи историка Щербатова, полученные П. И. Бартеневым у А. П. Заблоцкого, 1785-1790 гг.*, ОПИ ГИМ, ф. 368, д. 83, лл. 27^т-32^т). Благодарю С. В. Польского за ценную информацию о рукописном наследии Щербатова.
- 53 А. Н. Радищев, *Путешествие из Петербурга в Москву*, А. Н. Радищев, *Полное собрание сочинений*, т. 1, Москва-Ленинград, 1938, сс. 227, 248, 279, 293, 313-315, 323; и др.
- 54 Ю. М. Лотман, *В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь*, Москва, 1988, с. 295.
- 55 В. М. Живов полагает, что русское законодательство усваивает “дидактическую и полемическую” функции уже во время правления Петра I, именно тогда оказывается размытой самая граница “между юридическим определением и политическим трактатом” (В. М. Живов, *История русского права как лингвосемиотическая проблема*, сс. 271-272).
- 56 См., например, *ПСЗ*, т. XV, № 11616, сс. 22-23, 1762, 18 июля; т. XVII, № 12537, сс. 473-474, 1765, 31 декабря; т. XX, № 14769, сс. 726-727, 1778, 27 июня и др. См. также на эту тему: Л. Ф. Писарькова, ‘Российская бюрократия в эпоху Петра I’, *Отечественная история*, 2004, № 2, сс. 12-14; J.L. Black, *Citizens for the Fatherland. Education, Educator and Pedagogical Ideals in 18th-Century Russia*, Boulder, NY, 1979.
- 57 А.-Ф. Бюшинг, ‘Автобиография (Изложенные отрывки А. Г. Брикнера)’, *Исторический вестник*, 1886, т. 25, № 7, с. 17. Несколько позже английский посланник при русском дворе лорд Гаррис Мальмсбери доносил из Петербурга: “Свод законов, мастерски начертанный самой императрицей, до сих пор еще не был рассмотрен; он сохраняется в Академии, и по многим причинам приведение его в действие невозможно” (Д. Гаррис,

Депеша, ‘Мальмсбери герцогу Суффольку, 1778 июнь’, *Русский архив*, 1874, кн. I, № 6, стб. 1499).

- ⁵⁸ Неслучайно один из персонажей И. А. Крылова вообще искренне полагал, что большинство людей живет не по закону, а по давно устоявшемуся порядку, и что особенно интересно – этим человеком был судья Тихокрадов. “В свете, – заявляет он за именинным столом купца Плутареза, – введенные обыкновения столь же сильны, как и самые законы; сказанные же мною выгоды статского человека издавна между людьми вошли в обычай, и ныне они столько же употребительны и извинительны, сколько простительно придворному не платить своих долгов, а купцу иметь окороченный аршин и неверные весы” (И. А. Крылов, ‘Почта духов’, *Полное собрание сочинений*, Москва, 1945, т. 1, сс. 66-73). (Благодарю В. Б. Перхавко за подсказанную информацию и ценные сведения по истории самосознания купечества.)
- ⁵⁹ Оставить без внимания сенатский или именной указ стоило 10 рублей, вторичное “неисполнение от слабости и небрежения” оценивалось в 20 рублей, третий указ приходил в канцелярию уже за счет чиновников и штраф на них накладывался в 30 рублей (*ПСЗ*, т. XVII, № 12710, сс. 871-876, 1766, 31 июля). Для сравнения подобные рассеянные чиновники во времена Петра I назывались “преступники и указа ослушатели” и подлежали “разорению, ссылке или лишению живота” (*ПСЗ*, т. V, № 3333, с. 681, 1719, 19 марта).
- ⁶⁰ ‘Рассказ императрицы Екатерины II-й о первых пяти годах ее царствования’, *Русский архив*, 1865, стб. 479-489.
- ⁶¹ Низшим слоям доступ к престолу в царствование Екатерины был закрыт окончательно. Отчасти поэтому и возник феномен, который можно условно назвать “фольклорным законотворчеством”. “Ложные пасквили” содержали сведения об отмене крестьянской неволи вслед за ‘Манифестом о вольности дворянства’, о готовности “матушки-императрицы” взять на себя все недоимки и наказать “злонамеренных бояр”, о поголовной записи в казачество, и, подобно мечте Богучаровских мужиков и Драна старосты, о переселении в теплые края.
- ⁶² ‘Письмо И. М. Булгакова Я. И. Булгакову. Москва 1785 декабрь’, *Русская старина*, 1881, т. 31, № 6, с. 290. ‘Письмо Е. Р. Дашковой Екатерине II. [1783]’, *Чтения ОИДР*, 1867, кн. 1, январь-март, отд. V, с. 32. См. также, например, письмо В. Неронова С. М. Козымину, Москва, б. д.; *Переписка и черновые бумаги состоявшего при Кабинете императрицы Екатерины II Сергея Матвеевича Козыmina* (РГАДА, ф. 11, оп. 1, д. 1031, ч. 1, л. 3).
- ⁶³ См. ‘Письма А. П. Сумарокова’, *Письма русских писателей XVIII века*, сс. 129-132.
- ⁶⁴ Г. Р. Державин, *Записки*, сс. 86-87.
- ⁶⁵ ‘Письма с приложениями графов Никиты и Петра Ивановичей Паниных блаженной памяти к Государю Императору Павлу Петровичу’, *Император Павел I. Жизнь и царствование*, сост. Е. С. Шумигорский, Санкт-

-
- Питербург, 1907, с. 4; см. также: ‘Бумаги графов Н. и П. Паниных (записки, проекты, письма к вел. кн. Павлу Петровичу) 1784-1786 гг.’, РГАДА, ф. 1, оп. 1, д. 17.
- ⁶⁶ См.: И. И. Срезневский, *Словарь древнерусского языка*, Москва, 1989, т. 1, ч. 1, ст. 577; *Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)*, т. II, Москва, 1989, сс. 380-381; *Словарь русского языка XI-XVII вв.*, Москва, 1977, вып. 4, сс. 117-118; *Словарь Академии Российской*, ч. I, ст. 1234.
- ⁶⁷ См., например, *ПСЗ*, т. XX, № 14490, с. 403, 1776, 4 августа; т. XXXIII, № 17006, с. 287, 1791, 23 декабря.
- ⁶⁸ *Русская старина*, 1872, т. 6, № 7, с. 98. См. об этом изустном указе также: I. Schierle, ‘Der Bürgerbegriff im Zeitalter Katharinas II. Zur politisch-sozialen Begriffssprache des aufgeklärten Absolutismus in Russland’, *Das Achtzehnte Jahrhundert*, 1995, Bd. 19, сс. 68-80.
- ⁶⁹ “Равенство всех граждан, — гласил *Наказ*, — состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам” (см.: *Наказ императрицы Екатерины II*, сс. 1-2, 7-9, 14-15, 24, 27-28, 102).
- ⁷⁰ ‘О должностях человека и гражданина. Книга, к чтению определенная в народных городских училищах Российской империи’, *Русский архив*, 1907, № 3, с. 347. В этом контексте показательно сравнение текста данного вольного переложения работы Пуфendorфа и оригинала философского трактата немецкого мыслителя. В частности, в главе “Обязанности граждан” Пуфendorf пишет не о полном подчинении подданных самодержавию, которому доступно исключительное знание о сущности “гражданского общества”, а об обязанностях гражданина или “подданного гражданской власти” в равной степени и перед государством и его правителями, и по отношению к другим “согражданам” (см.: S. Pufendorf, *De Officio Hominis Et Civis Juxta Legem Naturalem Libri Duo*, New York, 1927, сс. 144-146).
- ⁷¹ См., например, *ПСЗ*, т. XXIII, № 17090, с. 390, 1792, 8 декабря.
- ⁷² См.: там же, т. XX, № 14271, с. 74, 1775, 15 марта.
- ⁷³ Н. И. Новиков, *Избранные сочинения*, Москва-Ленинград, 1954, сс. 616-617. В журнале *Трутень* Новиков также утверждал, что “добросердечный сочинитель” “хвалит сына отечества, пылающего любовью и верностью к государю, изображает миролюбивого гражданина” (см.: там же, с. 44).
- ⁷⁴ См., например, ‘Акт, подписанный Департаментами, избранными от всех званий Российского народа, к сочинению нового Уложения’, *ПСЗ*, т. XVIII, № 12978, сс. 349-355, 1767, 27 сентября. Для сравнения можно привести слова Ж.-Ж. Руссо, который в трактате ‘Об Общественном договоре или Принципы политического права’ писал, что все жители того или иного государства “в совокупности получают имя народа, а в отдельности называются гражданами как участвующие в верховной власти и подданными как подчиняющиеся законам Государства” (см.: Ж.-Ж. Руссо, *Трактаты*, Москва, 1969, с. 162).
- ⁷⁵ *О должностях человека и гражданина*, с. 349.

- ⁷⁶ См.: *Наказ императрицы Екатерины II*, сс. 103-105; *ПСЗ*, т. XVI, № 11908, сс. 346, 348, 350, 1763, 1 сентября; № 12103, с. 670; т. XVIII, № 12957, сс. 290-325, 1767, 11 августа; *О должностях человека и гражданина*, с. 349 (ср.: S. Pufendorf, *De Officio Hominis Et Civis Juxta Legem Naturalem Libri Duo*, сс. 115-118, 123-126, 152-154).
- ⁷⁷ ‘Записка князя Безбородко о потребностях империи Российской’, *Русский архив*, 1877, кн. I, № 3, сс. 297-300.
- ⁷⁸ Н. М. Карамзин, ‘Записка о Н. И. Новикове’, *Избранные сочинения в двух томах*, Москва-Ленинград, 1964, т. 2, с. 232. Фонвизин упоминал в письмах к П. И. Панину о “патриотических” чувствах “истинного гражданина”, всем сердцем радеющего за военные победы России: “Патриотические о мире рассуждения ваши, милостивый государь, конечно, не найдут противоречия ни от кого из истинных граждан. Ваше сиятельство [...] имеете причины радоваться тому, что все уже устроено к трактованию о мире” (см.: ‘Письмо Д. И. Фонвизина П. И. Панину, 1772 г., май’, Д. И. Фонвизин, *Собрание сочинений в двух томах*, Москва-Ленинград, 1959, т. 2, с. 383).
- ⁷⁹ Ж.-Ж. Руссо, *Трактаты*, с. 164.
- ⁸⁰ А. Н. Радищев, *Путешествие из Петербурга в Москву*, сс. 227, 248, 279, 293, 313-315, 323 др.
- ⁸¹ Источниковая база работы включает более 3 тыс. писем дворянства, около 50 художественных и публицистических произведений XVIII столетия, а также все законодательные акты, опубликованные в *ПСЗ* Российской империи, и несколько сотен архивных текстов.
- ⁸² А. Н. Радищев, *Путешествие из Петербурга в Москву*, с. 314. О распространении в среде русского дворянства идей естественного права см.: M. Raeff, *Origins of the Russian Intelligentsia*, New York, 1966, сс. 154-156.
- ⁸³ Например, Новиков не случайно выбрал в качестве эпиграфа своего журнала *Трутень* слова: “они работают, а вы их хлеб едите”. В 1773 г. он заметил в одном из писем: “Хлеб [...] нужнейшая вещь для продолжения человеческой жизни, вот истинное [...] всего государства богатство” (см.: ‘Письмо Н. И. Новикова Г. В. Козицкому, 1773 г., май’, *Письма Н. И. Новикова*, с. 7). Однако в своих размышлениях к понятию “гражданин” он не прибегал практически никогда.
- ⁸⁴ М. Н. Муравьев, ‘Обитатель предместья’, *Полное собрание сочинений*, Санкт-Петербург, 1819, т. 1, с. 101.
- ⁸⁵ Д. И. Фонвизин, ‘Опыт российского словника’, *Собрание сочинений в двух томах*, Москва-Ленинград, 1959, т. 1, сс. 225-226.
- ⁸⁶ См., например, об этом: Ю. М. Лотман, *Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века)*, Санкт-Петербург, 1994; D. Smith, *Working the Rough Stone: Freemasonry and Society in Eighteenth-Century Russia*, DeKalb, 1999, сс. 53-90; E. Wirtschafter, *The Play of Ideas in Russian Enlightenment Theater*, DeKalb, 2003; и др.